



ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ

Из книги «Сатура»

Перевод с итальянского и вступление
ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

Имя Эудженио Монтале знакомо читателям «Иностранной литературы»: публикация его стихов в февральском номере журнала за 1967 год была первой серьезной встречей с известным итальянским лириком XX века.

С тех пор прошло более пяти лет. Для Монтале это были годы работы, увенчавшейся выходом новой книги стихов. Выбирая для нее название, Монтале остался верен давней своей приверженности к многозначным понятиям. Сатура (лат. *satura*) может означать блюдо, состоящее из смеси различных плодов,— подобие нашего салата; сатурой в Древнем Риме называлось театральное представление, включающее в себя музыку, пение и танцы (отсюда впоследствии произошла письменная сатура, или сатира); наконец, прибавив к этому, что слово «сатура» созвучно «сатурации» — насыщению, мы получим еще одно возможное толкование лаконичного заглавия сборника: нечто вроде духовной пищи.

Выход новой книги Эудженио Монтале стал в Италии большим литературным событием. «...Некоторые из «великих стариков» нарушают длившееся годами молчание и являют нам пример блестящей поэтической зрелости», — так писал о «Сатуре» известный критик Г. Д. Бонино. «Сатура» появилась в пору, когда бурная полемика шестидесятых годов о возможных путях развития национальной поэзии¹ пошла в известной мере на спад, и хотя слова «поживем — увидим» не были при этом произнесены, стало ясно, что других результатов дискуссии между «традиционалистами» и поборниками разрушения сложившихся уже в двадцатом столетии поэтических норм ждать пока не приходится.

Подобно большинству маститых итальянских писателей, Монтале остался в стороне от литературных экспериментов последнего десятилетия, когда даже его, самого, быть может, нетрадиционного из итальянских поэтов нашего века, обвиняли подчас, как это ни парадоксально, именно в традиционализме. Свое скептическое отношение к самодовлеющему по большей части новаторству молодых он редко высказывал публично, и если говорить о его споре с «новаторами», то «Сатура» в этом споре — серьезный аргумент.

Как и прежние сборники Монтале, «Сатура» — книга преимущественно лирическая. Все, кто писал о ней, сходятся во мнении, что лучшие страницы в книге занимают стихи, посвященные памяти покойной жены поэта, тональность которых напоминает порой светлую печаль сонетов Петрарки «На смерть мадонны Лауры»: прерванный на полуслове разговор с любимой продолжается мысленно изо дня в день, воссоздавая историю любви, переросшую в историю жизни. Поэт убеждает себя, что близкий ему человек не умер, а ушел, ушел, чтобы возвращаться, давать о себе знать; пути друг к другу не отрезаны смертью, и когда поэт устремляется навстречу неотделимому от него прошлому, он, воскрешая прошлое, не отделяет его от настоящего и от будущего. Это дает ему силы на иронию, отбивающую охоту жалеть его, даже мысленно, и потому не выглядящую кощунством.

Новая книга заметно расширила лирический диапазон Монтале. Стих поэта стал прозрачнее, при том что его поэзия требует вчитывания, доосмысления, сотворчества. На страницах «Сатуры» Монтале чаще, чем это с ним бывало прежде, ищет

¹ См. в № 3 нашего журнала за 1971 год заметку «Диалог о языке искусства» (В гостях у «Иностранной литературы» — Ламберто Пиньотти) и в № 4 за 1971 год публикацию «Из экспериментальной итальянской поэзии».

собеседника. Монолог поэта перестает быть лишь внутренним монологом, что, впрочем, не обезличивает лирического «я» автора. Итальянская критика отмечала «большую коммуникабельность «Сатуры», нарушившей лирическую кристальность некогда замкнутого мира» Монтале. Если в предыдущих сборниках Монтале признаки времени появлялись лишь в исключительных случаях, что объяснялось прежде всего трагическими условиями развития итальянской поэзии в годы фашизма, то «Сатура» не уводит читателя от ощутимых примет современности. Это и сегодняшний день земли «на грани взрыва», планеты «с философскими и богословскими ее доктринами, политикой, искусством, порнографией», с городами-«свинюшниками» и «мерзостью», где «все абсолютно гнилое». Это и минувший день с печами лагерных крематориев, о которых люди должны помнить во имя дня грядущего. Не случайно Марио Спинелла в рецензии на «Сатуру» писал на страницах «Ринашита»: «Его (Монтале.— Е. С.) поэзия, его поиск, сама по себе его теплая ирония работают на нас: на человека, ставшего человеком для человека...».

■ ■ ■

Я вижу птицу неподвижную на кровле,
похожую на голубя, но мельче
и с хохолком, а быть может, это ветер —
ответить трудно при закрытых окнах.
Когда и ты, проснувшись от моторок,
на ту же птицу смотришь, это все,
что нам о счастье знать дано. Оно
с такой расплатою сопряжено,
что не про нашу честь, в то время как счастливы
не знают, что с ним делать.

■ ■ ■

Милая маленькая букашка,
которую называли, я знаю,
мухой — неведомо почему,
сегодня вечером, почти что в потемках,
когда я читал пророка Исаяю,
ты вновь появилась рядом со мною,
но была без очков
и видеть меня не могла,
и я без блеска стекол не мог
узнать тебя в полумраке.

■ ■ ■

Там был березняк, в котором спрятали
санаторий, где некая больная,
за любовь расплачиваясь к жизни,
между все и ничего скучала.
Пел сверчок, сообразованный с проектом
клиники наряду с кукушкой,
чье ку-ку ты слышала в Индонезии,
где оно обошлось тебе дешевле.
Там был березняк, медсестра-швейцарка,
три-четыре придурка во дворе,
тумбочка с телефоном и с альбомом
экзотических птиц.

Само собою,
там был я и другие горе-
утешители, тогда как ты сама
нас могла бы утешить, будь у нас
глаза. У меня они были.

■ ■ ■

Без очков, без антенн,
горемыка букашка, носившая крылья
исключительно в воображенье,
по листкам распадавшийся Ветхий завет, достоверный
лишь отчасти, полночная чернота,
вспышка молнии, гром — и потом никакого
урагана. Неужто
ты ушла столь стремительно, не проронив
ни единого слова? Но разве
у тебя еще были уста?

Конец года

С луны, или почти с луны, смотрел я
на скромную планету с философскими
и богословскими ее доктринами,
политикой, искусством, порнографией,
различными науками, включая
окультурные. Там есть к тому же люди,
и я среди них. И все довольно странно.

Сегодня из полночного тумана
возникнет год очередной под взрывы
петард и пробок. Может — бомб, однако
не здесь, не рядом. Если кто-то гибнет,
для уцелевших важно, чтобы это
был некто незнакомый и далекий.
Так лучше для самообмана.

Мастихин

По-твоему, не выдумкой
был пессимизм? Я ничего похожего
вокруг не замечаю.
И в нас самих ни звука недовольства.
Когда я плачу, плач мой, основную
подчеркивая тему,
обогащает сказочное завтра.
Мы тщательно сровняли мастихином
малейшую шероховатость мысли,
теперь все краски превозносят нашу палитру,
за исключением черной.

Ничего страшного

И это лето вроде на исходе.
Цикад и тех теперь услышишь редко,
а доведется хоть одну услышать — сердце млеет.
Земная скорлупа сжимается, оправдывая ожидания
на грани взрыва. Даже человек
был под сомнением, утверждают. В утешение
невесть кому, в небесной лотерее
был извлечен из барабана номер, не выпадавший никогда.

Но взрыва все-таки не будет. Хватит худшего,
что по своей природе бесконечно,
чего нельзя сказать о лучшем. Тримуртийская сивилла¹
увещевает Мойру², жизнь вдыхая
в мертворожденных. Умер только тот,
кто о цикадах думает, считая по инерции,
что все еще живет.

*Le revenant*³

.
четыре слога, имя неизвестного,
которого ты больше не встречала. Безусловно,
он умер. Наверняка — художник и уж конечно
твой ухажер, ты не думала отнекиваться.
Но это давний разговор; потом, когда тебя
не стало, я запомнил имя.
И вот подпольный журнал, где среди прочих
работ художников, «разгромленных в зародыше»
в начале века, его мазня, — но кто
порочить завтрашний шедевр себе позволит?
В тебе, быть может, Клицию свою
он видел. Невеселое открытие.
Я спрашиваю у себя, как все могло настолько
переплестись и не есть ли этот призрак
реальный путаник, а я — его двойник.

■ ■ ■

Ты часто (в отличие от меня) вспоминала синьора Капа.
«Я видела его на Искии, в автобусе, раз или два.
Это тот адвокат, от которого приходят открытки из
Клагенфурта.
Он собирался навеститься к нам».

И вот он наведалься, я ему все говорю, он расстроен,
похоже, что это трагедия и для него. Он долго молчит,
что-то бормочет, резко встает и кланяется. Обещает

¹ Сивиллы (греч. миф.) — легендарные женщины-пророчицы; тримурти — троица в индуистской религии.

² Мойры (греч. миф.) — богини судьбы.

³ Призрак (франц.).

и впредь поздравлять с праздниками.

Удивительно, что понимать
удавалось тебя исключительно людям невероятным.
Доктор Кап! Достаточно имени. А Селия? Что с ней
случилось?

■ ■ ■

Смерть тебя не касалась.
Тем временем умерли твои собаки,
и врач ненормальных, прозванный психом,
и мать, и ее «коронное блюдо»
из риса с лягушками, чудо Милана,
и отец твой, который с минипортрета
утром и вечером меня проверяет.
И все-таки смерть тебя не касалась.

На похороны должен был ездить я,
хоронясь в такси, держась поодаль,
чтобы слез избежать и прочего. Но и жизнь
для тебя не имела значенья с ее
ярмарками тщеславия, и тем более
не имели значения вселенские язвы,
превращающие людей в волков.

Tabula rasa¹ — когда бы не точка,
недоступная моему пониманию,
и эта точка тебя касалась.

Запинаться

Запинаться, идти по пути
наибольшего сопротивления —
чтобы вывести язык
из состояния оцепенения.
Заикание не выход
из положения, хотя от заик
и меньше шума. Поэтому
впору разглагольствование свести
к полуразговору. Однажды
кто-то выговорился до конца
и остался непонятым. Бесспорно,
он считал себя последним
говорящим. А между тем
все по-прежнему разглагольствуют,
и мир
с тех пор безнадежно нем.

¹ Чистый лист (лат.).

Рифмы

Созвучия назойливей стократ,
чем дамы Сан-Винченцо¹: то и дело
одолевают. Можно их терпеть,
но только не имея с ними дела.
Приличные поэты отдаляют
их (рифмы), прячут, юлят, на запрещенные
идут приемы. Но, ханжи прожженные,
старушки рифмы рано или поздно
опять под дверью и опять стучат.

Две венецианские прозы

Из окон были видны машинистки.
Внизу переулков, запах кипящих в масле омаров
и время от времени тошнотворная затхлость канала.
Венеция — и вот тебе на:
подобный пейзаж и она,
прикатившая издалека. Она, обожавшая только
Джезуальдо, Баха и Моцарта, а я — сомнительный
оперный репертуар и нередко вещи
куда безвкуснее. В довершение ко всему
часы, на которых пять, тогда как на самом деле четыре,
преждевременный выход, Сан-Марко, пустующий «Флориан»,
набережная Скъявони, траттория «Паганелли»,
присоветованная кем-то из прижимистых тосканских художников,
два номера, не сообщающихся один с другим, и на следующий день
видеть, как ты решительно
не желаешь замечать моего Ранцони².
Я спрашивал себя, кто скорее склонен
абстрагироваться — я ли, она ли,
или оба, каждый по-своему. И сказать, что мы
выдумали чудо-призраков по дороге
из-за Арно до широкой Пьяццале.
И вот мы там, среди голубей,
бродячих фотографов, в дикую жару,
при увесистом каталоге биеннале,
который мы даже не раскрывали.
Возвращаемся водным трамваем, голодные,
выбирая keepsakes³, открытки и темные очки на прилавках.
Кажется, тридцать четвертый год,
мы выгладим слишком юными или странными
в городе для почтенных туристов с их старческими романами.

■ ■ ■

Фарфарелла, болтливый портье, знающий свое дело,
заявил, что велено не беспокоить
любителя коррид и сафари.

¹ Общество Сан-Винченцо — женская благотворительная организация членство которой предполагает знатное происхождение или внушительное состояние.

² Итальянский художник XIX века.

³ Здесь: сувениры (англ.).

Я уговариваю его попытаться, я в дружбе с Эзрою Паундом
(изрядное преувеличение) и заслуживаю особого
отношения. А вдруг... Он подносит к уху рожок,
говорит, молчит, говорит, и вот
медведь Хемингуэй попался на удочку.
Он еще не вставал, сквозь заросли на лице
проглядывают только глаза и экземы.
Две или три бутылки из-под мерло —
лиха беда начало.
Все давно уже завтракают внизу.
Мы говорим не о нем, а о нашей милой
Адриен Монье, об улице Одеон,
о Сильвии Бич, о Ларбо, о рычащих тридцатых
и ревущих пятидесятых. Париж и Лондон — свинюшник,
Нью-Йорк—stinking, мерзость. Никаких охотничьих планов
диких уток, никаких девочек,
никаких подобных книг в перспективе.
Составляется список общих приятелей,
чьи имена я впервые слышу.
Все абсолютно rotten, гнилое.
Он почти со слезами просит не присылать к нему никого
из пишущей братии, а неглупых — тем паче.
Потом он встает, заворачивается в халат
и, обняв, выставляет меня за дверь.
Он прожил еще несколько лет и, умирая,
дважды успел прочесть свои некрологи.

Опись

Опись
памяти потрепана: кожаный чемодан,
носивший наклейки стольких отелей.
Уцелели считанные ярлыки, но и те
я не трогаю. Их соскоблят носильщики,
таксисты, ночные портье.

Опись твоей памяти
ты дала мне сама накануне ухода.
В ней названия многих стран,
даты приездов, отъездов и странная страница в конце
со сплошными строчками многоточий... как бы указывающих
на возможность невозможного «продолжение следует».

Опись
нашей памяти нельзя представить себе
разорванной на две части. Это единый лист со следами
штампов, подчисток и нескольких капель крови.
Она не была ни паспортом, ни службным списком.
Служить ближнему, даже мысленно, означало бы вечно жить.

